

Шодем (2004) – *Шодем Г.* Основные течения в еврейской мистике. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2004.

Виктор Малахов (Нагария, Израиль)

У ВХОДА. РАЗМЫШЛЕНИЕ О СМЕРТИ

Тема настоящего размышления едва ли покажется кому-нибудь странной. Думать о смерти завещано нам культурной традицией; относительно, в особенности, философии ещё Платоном на тысячелетия вперёд указано, что те, кто подлинно предан ей, «заняты на самом деле только одним – умиранием и смертью» (*Phaedr.* 64a)¹. Да и не будь Платона вовсе – человеку, существу одновременно самосознательному и смертному, как не задумываться о загадке собственного конца?

Вместе с тем, думать о смерти *не хочется* – не хочется глубоко, экзистенциально. Дело, как представляется, не просто в психологическом неприятии этой суровой темы. Не потому ли помыслы о смерти так трудны для нас, что мысль и смерть суть в принципе вещи несовместные? Рассудим: мысль, сознание человека всегда и неизбежно исходят из будущего, «временятся» из перспективы дальнейшего существования меня, нас – своих непосредственных субъектов. Когда я формирую свою мысль, располагаю её в поле своего актуального настоящего, я, её субъект и творец, всегда и неизбежно уже нахожусь *впереди* неё – т. е., по отношению к ней, принципиально в измерении будущего. Да простится мне такая несвойственная русской речи временная конструкция: кто-то *уже-будет* существовать, чьё-то бытие-в-будущем уже положено, раз в его сознании в настоящий момент складываются такие-то и такие-то соображения. Мыслию, следовательно, существую, – говорит Декарт. Мыслию – значит, буду существовать и впредь, – так подсказывает само устройство нашей мыслительной деятельности.

Ну вот... А смерть это необходимое, априори уже пред-положенное будущее от нас отсекает. Что делать перед её лицом нам как мыслящим субъектам? Да, *мысль и смерть – несовместимы*.

Впрочем, не только о чистой мысли можно ведь такое сказать. Вот, например, диалог как ключевая форма речевого поведения личности – не случайно же, по тонкому наблюдению М.М. Бахтина, в диалогическом

¹ Платон. Федон // Платон. Собр. соч.: В 4 т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1993. – С. 14.

мире романов Достоевского «смерть не может иметь никакого завершающего и освещающего жизнь значения»¹. Слово в подлинном диалоге не просто побуждает к ответу, но тяготеет к этому ответу как к чему-то внутренне предзаданному, – словно бы нанизывается на ось разговора, протянутую из неотвратимого будущего. Всякое «последнее слово» в этой диалогической перспективе неизбежно уступает место словам новым и новым – хотя, следует тут же добавить, никогда полностью и не теряется среди них. Сама смерть того или иного из персонажей у Достоевского, в его рафинированном диалогическом пространстве оказывается, как правило, всего лишь репликой, смысловнесущим высказыванием, звеном однажды затеянного разговора. Человек может уйти, но разговор с ним продолжается, и несть этому разговору конца...

Сама интонация нашей речи, устной или письменной – не предполагает ли и она некое осязаемое участие субъективного будущего: как бы уже состоявшийся грядущий выход наш из ситуации, о которой мы ведём речь в настоящий момент и с которой пытаемся совладать? Прежде чем на деле управиться с теми или иными проблемами и трудностями, мы выражаем свою способность их преодолеть тем, что интонируем наше повествование о них, облакаем их смысловой контур собственным дыханием, динамикой собственного продолжающегося присутствия в мире. Пусть речь идёт хоть о чуме, пожаре, начинающейся войне – у нас всё ещё остаётся возможность ощутить себя, своё сокровенное существо как бы за гранью всех этих трагических событий, в потоке бытия, струящемся из нашего предположенного будущего. Но как, скажите, продышаться сквозь всеобволакивающую пелену смерти, каким заклятием укротить эту стремительно надвигающуюся на нас чёрную дыру, смирить её хваткие щупальца?

Не стану отрицать: существует, разумеется, и такое подобие человеческого дискурса – мысли, речи, слова, – которое коренится именно в антиципации смерти, перспективу будущего отсекающей. Признаки подобного псевдодискурса несложно различить, например, в языке всевозможных приказов, команд, формирующих у исполнителей счастливую способность «не рассуждать», не нуждающихся в ответе и лишаящих смысла любые человеческие интонации в произносящем их голосе. Не могу не вспомнить в этой связи строки Велимира Хлебникова:

Как чей-то меч железным звуком,
Недавно здесь ударил долг.
И, осуждённый к долгим мукам,
Я головой упал, умолк.

(«Любовь приходит страшным смерчем...», VIII).

¹ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч. – Т. 6. – М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2002. – С. 85.

Есть, есть в континууме человеческой мысли и речи нечто такое, перед чем самосознающему человеческому «я», пресловутому *ego cogito*, только, казалось бы, и остаётся, что «упасть на голову» и «смолкнуть». И это нечто, нельзя не признать, имеет прямое отношение к теме смерти и способов её проникновения в наше «теперь».

И тем не менее, возвращаюсь к своему основному тезису: по самой своей сути, мысль и смерть несовместимы. Смерть как таковая невысказана – и всё же думать о смерти необходимо; это даже, можно сказать, прямая наша обязанность. В частности, говорю я себе, я философ, и уже по однажды избранному роду занятий я должен думать, осмысливать человеческое существование, пробиваться сквозь всяческую невысказанность – и как же мне не думать о смерти, тем более что зияющая её чернота с каждым годом вырисовывается предо мной всё неотвратимее, всё тревожней. Именно думать, а не полагаться на веру. Вера – она, известно, двигает горы, блажен, кто верует, – но я философ, я должен думать...

Отсюда этот опыт *размышления о смерти*.

Но как же всё-таки о ней, о смерти-то, думать, ежели сама она, как мы только что выяснили, вне мысли, противомысленна – и идти нашей мысли в ту сторону смертельно не хочется? А идти надо. И вот увёртливая наша мысль начинает искать обходные пути, юлить, сбиваться на проторённые дороги. Благо таких дорог за тысячелетия проложено было немало – нет, пожалуй, в обзоре человеческого мышления темы, до такой степени загромождённой разного рода общими фразами, благозвучными трюизмами, а то и весьма глубокими, но уже ощутимо закостенелыми рассуждениями, как не любимая никем (за исключением извращенцев-культурантропологов) тема смерти. Тысячи, миллионы текстов... Чтобы не захлебнуться в их пучине, даю твёрдый зарок, устанавливаю для себя такое *эпохе*: неизменно оставаться сосредоточенным на самом феномене, самом приближающемся событии смерти, не сбиваясь на блуждания среди этого устрашающего собрания мудрых и немудрых мыслей о ней, которые, по сути дела, лишь дробят твой взгляд, отвлекают от стержневой для тебя, каков сам ты есть на своём подходе к ней, постановки вопроса. (Что, кстати, не означает, будто все эти накопившиеся на протяжении веков суждения о смерти для тебя не важны, – просто наступает момент, когда возникает необходимость от них отрешиться, дабы свериться с собственными данными).

Взглянуть на смерть так, будто ты первый встречаешься с ней лицом к лицу, будто твой корабль первым врежется в её арктический лёд; так, словно ты – тот самый заигравшийся с ракушками на пляже одинокий ньютоновский мальчик, с тревогой и любопытством глядящий в бескрайнюю океанскую даль, – вот, уважаемый читатель, мой гносеологический идеал, вот то, к чему стремлюсь я в этих своих

размышлениях. Ведь и впрямь на берегу *этого* океана все мы в каком-то смысле снова оказываемся детьми – детьми беззащитными, несведущими, прячущимися от надвигающейся Тайны и жадно стремящимися заглянуть за её роковую завесу...

Искомая непосредственность, возжеленная *детскость* восприятия смерти, к которой мы в меру своих сил попытаемся здесь пробиться, исключает, разумеется, для нас и разного рода предварительные этические, социологические, психологические и т. п. установки, сортирующие смерть, словно какие-нибудь фрукты, по заранее заготовленным корзинам. Ведь если смерть и фрукт, то фрукт совсем особый: вдохнуть её ни с чем не сравнимый аромат, вникнуть в её непередаваемое своеобразие не лишне, пожалуй, даже в видах заготовки подходящих корзин. Сколько бы таких корзин ни предоставляла, например, в наше распоряжение тщательно разработанная и любезная сердцу автора этих строк область этики (о том одном, что значит «достойно» – и, соответственно, «недостойно» – встретить смерть, написаны, как известно, горы этической литературы), – имеет несомненный смысл приглядеться повнимательнее к тому, что мы в эти корзины собираемся класть. А то ведь, не приведи Господи, не подойдут...

Впрочем, больше из нашей ассоциации с фруктами в сортировочных корзинах ничего уже, пожалуй, не выжмешь. Увы, смерть, ежели строго взглянуть, никакой не фрукт, да и вообще не предмет, не объект она вовсе. Объект, каков бы он ни был, своим своим наличием утверждает присутствие рядом с собой определённого субъекта, способного его сортировать, изучать, обезвреживать, приспособлять для своих нужд. Смерть же – *моя смерть* – меня как субъекта истребляет. Не объект она, комфортно располагающийся передо мной, а тотальная западня, всепоглощающая воронка, тяжесть, исподволь разъедающая мою жизнь...

Разумеется, вездесущее явление смерти имеет и свой объективный аспект, в котором смерть как раз и оказывается возможным сортировать, раскладывать по полкам, наблюдать, изучать. Смерть случается с каждым, мы можем наблюдать её извне – в этом смысле она вполне поддаётся исследованию. Всё дело, однако, в том, что человек, объективно исследующий смерть, будь он самый продвинутый танатолог, не даст и в принципе не способен дать мне ответ на ключевой для каждого смертного вопрос: что означает *не быть*? Как человек науки, как представитель объективного знания, он бессмертен, ибо наука бессмертна. Наблюдаемые им люди, как любые другие существа, умирают, уходят из жизни, перестают быть, – он, человек науки, переходит к новому этапу исследований. Подобно эпикурейскому мудрецу, он не встречается с реальной смертью. Вот почему интригующие результаты современных научных изысканий – то, «что говорят о смерти учёные», – также не найдут

для себя места на этих страницах. Нам с тобой, дорогой мой читатель, умирать предстоит всерьёз.

– Как же так, – спросит, быть может, в недоумении кто-то, – а детскость восприятия, к которой вроде бы стремится наш автор? Детки-то, сами говорите, любознательны! А ньютоновский пресловутый мальчик на берегу океана – уж он-то бы точно не отвернулся от даруемых пытливым взором ярких прибрежных находок?!

Что ж – детки-то мы, стоящие перед океаном смерти, конечно же детки, но детки, как говорится, в возрасте. Гладкими камушками и ракушками попестрее нас уже от тягостных и неприятных наших мыслей, пожалуй, не отвлечёшь. Надо думать...

И всё же – не слишком ли опрометчиво оставлять, например, здесь в стороне собранные современными реаниматологами захватывающие истории околосмертного опыта, все эти растиражированные повествования о парении над собственным телом, световом туннеле, встрече с умершими родственниками, проносящейся перед взором череде эпизодов прошедшей жизни и т. п.? Ведь в основе своей это рассказы *живых людей*, одолевших примерно тот же путь, который предстоит каждому из нас, – как же не прислушаться к ним?

Да, прислушаться, наверное, стоит. Но не как к размеченной для тебя заранее «дорожной карте», а как к запредельному, неверному, словно голос в порывах вьюги или пламя далёкой свечи, отклику на поиск твоей собственной души, отклику, делающему этот поиск ещё более напряжённым и увлекательным.

Главное, однако, в нынешней моей задаче, как я её понимаю, – сберечь внутреннюю последовательность, незамутнённость взгляда на смерть, открывающегося в перспективе субъективного продвижения к ней. Только такая последовательно субъективная траектория взгляда может, думается, позволить мне, исчезающе малому смертному существу, уловить *собственную упругость* приближающегося таинства смерти – ну и задать ей, смерти, пару интересующих меня вопросов. Я философ, в конце-то концов...

Должен откровенно признать: тень, отбрасываемая смертью на грешное моё бытие, становится всё плотней, всё весомей. Если, как упоминалось выше, объективирующая наука рассматривает смерть с точки зрения продолжающейся жизни, – для каждого человеческого существа, в его непосредственном бытии, рано или поздно наступает момент, когда, напротив, сама его жизнь попадает в поле притяжения смерти, как бы начинает её глазами смотреть на самоё себя. Речь, разумеется, не о загнипнотизированности смертью: нет состояния горше и безысходнее, чем когда жизнь, утратившая свой внутренний тонус и смысл, сводится к пустому отбыванию времени в ожидании конца. Однако и на жизнь вполне

насыщенную, полнокровную рано или поздно наползает зловещая тень, и вот уже чудятся нам некие приближающиеся шаги, и ужас проникает под кожу – младенческий ужас толстовского Ивана Ильича перед *чёрным мешком*, в который вот-вот просунет тебя невидимая непреодолимая сила...

Думать о смерти невозможно, а не думать нельзя.

Так как же всё-таки подступиться к этой невесёлой теме? Не послужит ли нам если не спасительной ариадниной нитью, то хоть какой-то зацепкой сама констатация немыслимости смерти? Что это, собственно, означает, что смерть немыслима? Выше мы наблюдали феномен «мысль-смерть-несовместимости» со стороны мысли. Ну а как выглядит он, что способен нам подсказать, если попробовать его рассмотреть с противоположной его стороны?

Согласимся прежде всего, что в самом по себе представлении о конечности человеческой жизни ничего удивительного нет – хотя поводов для грусти оно даёт предостаточно. Нам, пожилым детям земли, известен секрет: жизнь, да и сама жажда жизни имеют свою внутреннюю меру; эта мера дана нам, как говорится, в наших ощущениях. Рано или поздно наступает пора, когда неодолимая, гасящая любые порывы усталость овладевает нами; желанной целью, выстраданной мечтой становится тихий уход из годами наработанной системы жизненных связей – уход, сама мысль о котором прежде показалась бы нам нестерпимой. Слабеет, истощается не только сила чувств, но и движущая энергия мысли – от чего, в частности, самый феномен немыслимости смерти в какой-то степени утрачивает для нас свою остроту. Впрочем, я философ, я не могу не думать, – повторяю я как заклинание...

Итак, смерть *соприродна*, хотя и немыслима – и эту её соприродность мы постигаем не из учебников и поверхностных наблюдений, а из собственного внутреннего опыта. Вместе с тем – ну только попробуем вдуматься: что означает для человека смерть? Как мы можем представить себе это загадочное состояние, которое до нас уже стало уделом многих миллиардов человеческих существ?

Пожалуй, что никак. Смерть непредставима. Как *ты* можешь представить *себе*, что *тебя* нет? И никогда больше не будет? Не говоря уже о том, как это можно понять! Можно представить долгую до бесконечности тишину, темноту – и то лишь при условии, что когда-нибудь она прервётся. Можно представить, что ничего не появляется на экране нашего сознания. Но как представить отсутствие самого этого экрана? Тем более – отсутствие, исчезновение навеки света, его освещающего? Уж если открылся, вспыхнул, озарил окрестные просторы этот чудный свет, изливающийся из твоих глаз, твоего сердца, твоего ума – как может он

снова угаснуть? Разве его явление не необратимо? Победа света над тьмой – какая сила способна у нас её отнять?

Всмотримся ещё раз, ещё пристальнее: как *ты* можешь представить, что *тебя* – нет? А если допустить, что тебя не будет, что тебя *может не быть*, – тогда, может, тебя и сейчас уже нет? Нет экрана сознания, нет света, нет ничего... Онтология, исходящая из того, что *ничего нет*, – как вам такое? А существовал ли ты в таком случае вообще?

Снова и снова возвращаюсь я к одной и той же мысли. Если предположить, что *ничего нет* (или спроецировать такое предположение на будущее, что, в сущности, одно и то же: ничего, мол, не будет), – то и вправду ничего, может, никогда и не было вовсе? Ведь из предпосылки, что *ничего нет*, никоим образом невозможно вывести, что что-то когда-то *было!* Если для нас, с нашей точки зрения (а другой у нас нет), через какое-то время ничего не будет – значит, нет ничего и сейчас. Если сейчас ничего нет – значит, ничего и не было: ни звёзд небесных, ни волн морских, ни шума, ни ярости, даже и самих наших снов тоже не было; это только привиделось, будто они были, – где привиделось? И кому?..

Мечется, мечется увёртливая, но настырная мысль по заколдованному этому кругу... Оставим её пока в её незавидном положении – и перепрыгнем тем временем на другой островок, следующую кочку в топком болоте наших нынешних размышлений. А что, – говорю я себе, – если *там* всё-таки что-то есть?

О, разумеется, в преобладающем сегодня мнении, будто со смертью для человека всё кончается, при всей нашей неспособности представить и помыслить подобное положение вещей, есть нечто даже весьма утешительное для измаявшейся человеческой души. Идея посмертного небытия разом уводит нас прочь от тягостных мыслей о жутком состоянии покинутого жизнью тела, картин его разложения или уничтожения, безвестного и безысходного лежания в тесном ящике под землёй, а паче того – от дум о вечной разлуке с близкими, о загробных мытарствах души... Вот только не заслоняет ли для нас утешительная аура подобной идеи открытый вопрос о мере её внутренней убедительности? Утешительность и убедительность ведь вещи разные... Мы только что видели, как из предположения посмертного небытия выводится небытие *всеобщее* – своеобразная онтология Ничто, базирующаяся на том, что ничего нет, да по существу и не было никогда. Подобную онтологию нужно, без сомнения, уметь прочувствовать и представить.

Что касается меня, пишущего эти строки, сознаюсь честно: я на такой подвиг не способен. Рискну предположить, что и вообще в душе человеческой ничто не откликается на такую онтологию абсолютного небытия, более того – всё против неё восстаёт, противится ей. Куда более убедительным – именно *внутренне*, субъективно убедительным –

представляется умонастроение совсем иного, противоположного толка, коренящееся в своеобразном, я бы сказал, «фоновом излучении» Запредельного, исподволь пронизывающем нашу жизнь.

Помните, у старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» есть замечательное рассуждение о «соприкосновении мирам иным»? «Бог, – учит старец, – взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и возшло всё, что могло взойти, но возвращённое живёт и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и возвращённое в тебе»¹. Как многое другое, это умозрение также оказывается у Достоевского ареной духовного противоборства: задолго до появления «Братьев Карамазовых», о «клочках и отрывках других миров» рассуждал не кто иной, как Аркадий Иванович Свидригайлов: «Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрёт совсем человек, то прямо и перейдёт в другой мир»². Что в одном случае являет благодать Божью, то в другом предстаёт «привидением» – гибельным, страшным... Что ж, неспроста, как заметил однажды Сергей Аверинцев, «один и тот же огонь является как символом любви, так и символом геенны»³. Как бы то ни было, огонь есть огонь, и «касание мирам иным», уж коль скоро дано оно нам, сквозь всё земное пробьётся – то-то так отзываются в нашей читательской душе, так прочно обосновываются в ней слова и Свидригайлова, и Зосимы...

Что бывают в жизни человеческой такие *касания* – по собственному опыту известно, наверное, каждому. Приходят к нам время от времени такие проникновенные, ясные сны, так глубоко иные впечатления западают в душу, такие совпадения случаются, такие предчувствия посещают порой... Нет-нет, помилуй Бог, я вовсе не призываю за каждым сколько-нибудь примечательным эпизодом нашего душевного опыта искать какую-то «потустороннюю» подкладку, – трудно, на мой взгляд, представить занятие более бестолковое и унылое, чем поиск подобных закулисных шпаргалок, лишаящих свежести нашу здешнюю жизнь. Но *саспенс*, господа, *саспенс*! Вглядитесь, не спеша, в эту небесную синь, задержите в

¹ Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. – Т. 14. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1976. – С. 290 – 291.

² Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. – Т. 6. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1973. – С. 221.

³ Аверинцев С. С. Брак и семья. Несвоевременный опыт христианского взгляда на вещи // Аверинцев С. С. София – Логос. Словарь. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2006. – С. 802.

груди накатившую жалость, войдите в это томительное ожидание – рано или поздно оно, словно волна, всё равно ведь накроет всех нас... Воля, как говорится, ваша: представить, что за всем этим стоит одно только лупоглазое Ничто, я, сколько бы ни бился, не могу.

Опять же, не будем торопиться с закономерным, казалось бы, вопросом: если не *Ничто*, то *что же* ожидает нас там? Не будем хотя бы потому, что реальный смысл даже самого невинного в этой недоумённой фразе словечка «там», по сути дела, остаётся для нас совершенно неясным. Саспенс, неопределённая тревога, немая тоска, с которыми думается о смерти, вовсе не обязательно должны скрывать от нас что-то определённое, а впрочем... Почему эти непонятно каким образом доставшиеся нам «фоновые», влекущие за край бытия поля-опахала надежды, ужаса, тоски так велики, так непомерно избыточны, что за лики таятся в их мерцающей глубине? Нет, нет, прочь от этих мучительных мыслей, которые на поверку даже и не мысли вовсе, а так, призрак, туман... Моя задача всё-таки более осязаема: проследить в наиболее внятных для меня, наблюдающего субъекта, чертах, как при-открывается перед нами внефеноменальный феномен смерти, какие возмущения в характере человеческого осознания и переживания мира его приближение вызывает. Да, иррадиация Запредельного ощущается нами с течением времени всё сильнее; всё более обширным становится круг явлений, вплоть до самых обыденных, житейских, которые задевают, ранят наше самовосприятие как своего рода *намёк*: намёк на нечто роковое, сквозяще-неведомое, на то, как если бы... Факт тот, что с бодрым предвкушением Ничто как нашего, якобы, неизбежного будущего подобное умонастроение несовместимо и душу нашу к нему никоим образом не готовит.

Слов нет, смерть как таковая непредсказуема, и ждать от неё можно любого подвоха. В том числе и цинично-прямолинейного «обрыва в ничто» вопреки любым субъективным достоверностям и тонким настройкам нашего «я». В конечном счёте, как говорит Э. Левинас, неожиданно подкрадываясь смерть, подобно убийце, обуреваемому страстью к уничтожению Другого, сама наносит нам «свой удар»¹. «Смерть, – продолжает философ, – это угроза, приближающаяся ко мне таинственным образом; тайна смерти определяет её – она приближается, ещё не осуществляясь, так, что время, отделяющее меня от моей смерти, всё сокращается и сокращается, сохраняя как бы последний интервал, который моё сознание не в силах преодолеть и откуда моя смерть осуществится рывком»². То, что «рывок» этот неподконтролен субъекту и не прогнозируется им, ясно само собой. Но даёт ли его сокрушительная мощь

¹ Левинас Э. Тотальность и Бесконечное // Левинас Э. Избранное: Тотальность и Бесконечное. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000. – С. 233.

² Там же. – С. 234.

основания полагать, будто и вообще все достояния субъективного человеческого опыта и его базовые установки перед лицом приближающейся смерти утрачивают свою значимость и нам остаётся только ждать, как скучного поезда на провинциальном вокзале, наступления неумолимой развязки, укрепляясь в сознании, что после неё действительно ничего не будет, – а следовательно, ничего, собственно, уже и нет, да как бы и не было вовсе?

Сохраним, однако, верность нашим субъективным посылкам: иной путеводной нити в расследовании нашего запутанного дела у нас попросту нет. Подобно тому как человеческое сознание восстаёт против навязываемой ему нигилистической трактовкой смерти онтологии тотального Ничто – не может оно примириться и с катастрофической девальвацией собственных показаний перед лицом смерти, смерти, приходящей извне и «рывком» обрывающей его деятельность. Естественно предположить, что за этим его упорством и готовностью постоять за себя стоит некоторого рода глубинная *реальность*, с которой мы так или иначе должны считаться. Иначе откуда это наше твёрдое, неизбывное, пережившее миллионы крушений и вновь восстающее во всей своей непреложности, тысячекратно воплощённое в поэтических, философских, религиозных текстах убеждение в том, что *Бог сохраняет всё*, что каждый человеческий индивид несёт на себе отсвет Абсолюта и «то, что с жизни взято раз, / Не в силах рок отнять у нас» (Н. А. Некрасов)? Почему для нас нестерпима мысль как о бесследном исчезновении, так и о всецелом обесценивании (что, в сущности, одно и то же) нашего субъективного опыта, внутреннего достояния нашего «я»? Предсмертный булгаковский вздох: «чтобы знали»¹ – не общечеловеческое ли это чаяние?

Приметим две имеющиеся у нас возможности, две тропинки, дающие надежду выбраться из дебрей описанных сомнений на свет. Первая из них ведёт сквозь близлежащие кусты в сторону проложенной с размахом, но впоследствии значительно обезлюдившей гегелевской магистрали «снятия» (*Aufhebung*), вторая сбегает к живительному ручью *Другого*, воспетому, кстати говоря, тем же Левинасом. Согласно доктрине «снятия», всякий предшествующий этап развития, уступая место новому, одновременно и сохраняется в нём как неотъемлемая предпосылка его собственной реализации. Как таковая, эта оптимистическая конструкция давно уже вышла из моды; вместе с тем, не доказывает ли само её «снятие» хотя бы частичную правоту заложенного в ней принципа? Как без её негласного допущения постичь преемственность, кумулятивный характер исторического опыта человечества? Без тихой, но надёжной работы

¹ См.: Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. – 2-е изд., доп. – М.: Книга, 1988. – С. 650.

механизма «снятия» – разве не грозил бы нам всем в нашем совокупном историческом бытии обрыв в уже знакомое нам *Ничто*?

Вот только непременным условием подключения к этой «спасительной» механике «снятия» (соответственно, «признания», «интеграции» и т. д., если вспомнить о более современной терминологии) выступает радикальный отказ от *себя*: перевод поддающегося описанной процедуре содержания собственной субъективности на язык «объективного», а говоря точнее и глубже, вынужденное растворение в некоей собирательной надындивидуальной квазисубъектности – вполне монологичной (хотя при этом, не исключено, и признающей ту или иную «многополярность») и не ведающей, что такое смерть в человеческом смысле слова.

Второй открывающийся перед нами путь, путь *Другого*, не даёт, в отличие от первого, никаких объективных гарантий и никакого автоматического «спасения» путём подключения к «вечной» самовоспроизводящейся Системе не сулит. Чувство хрупкости, смертной обречённости собственного «я» остаётся с нами; к нему ещё добавляется тревожное, беспокойное ощущение уязвимости *Других*, к которым мы обращены. То позитивное, что даёт установка на *Другого* в занимающем нас аспекте, это удостоверение нашей именно *субъективной* сопричастности остающемуся после нас бытию и не угасающей вместе с нашим собственным «я» актуальности нашего внутреннего опыта как опыта-для-Других. На последующих страницах нам ещё предстоит детальнее присмотреться к этому развороту нашей темы.

А пока, дорогой читатель, продолжим наше рассуждение. Итак, у нас, по-видимому, есть всё же некоторые основания доверять своему субъективному восприятию близящейся смерти и, стало быть, не оставлять без внимания те её приметы, то упомянутое на предыдущих страницах «фоновое излучение» Запредельного, те «касания» и подспудные страхи, которые с годами всё настойчивее дают знать о себе. Да, оставив за плечами определённый массив прожитых лет, понемногу начинаешь различать в своём существовании некие новые напряжения, чувствовать, как сдвигается перспектива твоего видения себя и собственной жизни. И давящая всепримиряющая усталость, и беспечальное – да, беспечальное – выпадение из привычного круга деловых и дружеских отношений, и странное ощущение присутствия рядом тех, кто ушёл навсегда, и эти сны, и эта бессонница... Эти тёмные кусты под дождём, эти плачущие деревья, это медовое солнце над вечерней мерцающей гладью, эти бабушкины интонации в чьём-то совсем незнакомом голосе – вся жизнь, всё существование твоё исподволь, вкрадчиво, постепенно обретает особый модус бытия-перед-разлукой... Или бытия-перед-Встречей – но не спросишь же, *с кем*? Что там, в поле, в тех косматых кустах? Что это белёсо

просвечивает в глубине облегающей тьмы? Не спросить, и губ не разжать, не сглотнуть натёкшую мокроту, не согнать бессонное марево...

Страхи... Жизнь отживающего человека невесела сама по себе, но не страшнее, не жутче ли становится с каждым годом то, что сквозит и веет через её прорехи? Перечень подобных страхов у каждого, наверное, свой, в какой-то степени они связаны с нашими индивидуальными психическими особенностями, но значит ли это, что они поверхностны, не имеют глубокой онтологической почвы?

Убеждён, что такую почву они имеют – пусть в основе этой моей убеждённости лежит всё тот же субъективный опыт, которому в данном отношении опять-таки приходится доверять. Ценою слёз, которыми орошено твоё ложе и сдобрен твой хлеб, в этой жизни познаются наиреальнейшие вещи. Как не заметить принципиальной разницы между зыбкой материей наших сонных видений и тем страшным, нестерпимым, что кроется между ними и в их глубине? О этот перст, неотступный, грозный, властно влекущий *туда*, не дающий увильнуть и забыться... Ну да, у каждого свой опыт, мой вот подсказывает мне, что существует *нестерпимая реальность*, и что она имеет прямое касательство к самому нерву моего присутствия в мире. По мне, это даже слишком очевидно: полоса нашей приспособляемости, приноровляемости узка, несравненно уже, чем полоса нашего возможного познания, – и кто сказал, что за её пределами наше сознание и восприятие благополучнейшим для нас образом будет автоматически отключено? Ведь может быть ох как иначе... Вот ты лежишь в своей мятой постели, маешься, не можешь уснуть – а над тобой нависают, давят со всех сторон, обхватывают твои плечи, спину, грудь глухие безучастные стены, и нужно, до исступления нужно тебе прорваться сквозь их глухоту, раздвинуть их хоть немного, высвободить свои локти, свои плечи – но как? И кто сказал, что это не навсегда? Кто посмеет тебя убеждать, что, мол, всего этого просто не существует, что это, мол, выдумки твоего изболевшегося воображения? Ведь *ты же сам сюда вошёл*, сам открыл эту дверь сознательным усилием мысли! *Мыслишь Ад – значит, Ад существует...*

А отсюда следующий вопрос, от которого не уйти: если личный наш опыт приближения к смерти чего-нибудь стоит и если имеются хоть какие-нибудь основания допускать, что за несокрытым от нас «фоновым излучением» действительно кроется некая онтологическая реальность, – как вообще можем мы пренебрегать подобного рода свидетельствами в нашей текущей жизни? Ну вообразите себе ситуацию: вы знаете, что перед вами стоит, на вас неумолимо надвигается величайшая тайна, само Неведомое. Так или иначе, вам предстоит нечто такое, что глупо даже толковать о его небывалости, беспрецедентности – какая уж тут, к лешему, «беспрецедентность»! Либо немислимое и невозможное для человеческой

души погружение в Ничто – а что такое это Ничто, так и тянет спросить, – либо, прошу прощения за банальность, переход в загробное бытие, в «Запредельное», в какой-то, опять-таки, совершенно для нас непредставимый мир. И это, судя по всему, навсегда! И учтите ещё, что переход этот, эта встреча с Неведомым в любом случае предстоят *лично вам*. Как неоднократно подсказывали всем нам достаточно разумные люди, тяжесть свидания с собственной смертью ни на чьи чужие плечи переложить нельзя: в этом смысле, действительно, каждый умирает в одиночку. Наблюдающая, так сказать, ход событий камера и до последнего момента, и после останется у вас, при вас – никуда вам её не сбросить, и перепоручить её при всём желании никому не удастся... *Вот оно* – наступает, наползает, надвигается на тебя из самой глубины, изо всех углов и прорех твоего ветшающего земного бытия, вот оно сейчас накроет тебя с головой и решит твою участь навеки, навеки...

Как можешь ты в этом своём предстоянии смерти отвлекаться на что бы то ни было другое, постороннее? Тем более что столько мудрых голов в один голос напоминают тебе: *memento mori, memento mori...* Ну зачем, скажи, тебе мирская слава и всё попечение земное, ежели плодов их *туда* всё равно с собой не возьмёшь?! О душе надо думать, о душе в одиноком её трепыхании на берегу накатывающейся волны...

А ведь поди ж ты – не получается. Вопреки советам всех мудрецов, вопреки Сократу, Марку Аврелию, Паскалю, Нилу Сорскому и кому там, подскажите, ещё – ох, тяжко о душе-то одной единственно помышлять, ох, тяжко! Да и посильно ли это для человека вообще? Как невозможно для нас постичь и признать господство чистого всеохватного *Ничто* – так же, пожалуй, или почти что так неподъёмно для духа нашего это, казалось бы, неизбежное одинокое и безраздельное предстояние смерти – в вере ли, в надежде ли, в страхе...

Увы – сознание близящейся кончины лишь подстёгивает нас побольше успеть сделать и что можно завершить здесь, на земле. А ведь нетрудно понять: ну чего стоит вся эта брэнная, мимолётная жизнь «в миру», да и сам этот ускользающий мир, чего стоят все наши суетные попытки добиться признания, памяти и тепла от окружающих нас ныне столь же смертных и незащитных, как мы, человеческих существ? И преходящих – да-да, во всех отношениях преходящих! Подумай: долго ли ты вообще будешь *там* вспоминать это тающее световое пятно, этот мимолётный опыт бытия-с-другими – там, где мрак Плутон простёр? Там, где душа твоя постигнет, каков бы он ни был, вкус Вечности? Не пожалеет ли она вскоре о своей былой преданности «земному» и «мирскому»?

И тем не менее, приходится признать, что при всей убийственности описанной альтернативы мы и перед лицом смерти, за немногими исключениями, остаёмся при обстоятельствах земного нашего бытия. Более

того, немало среди людей и таких, кто у самых смертных врат помышляет не о собственной предстоящей участи, а о своих родных и близких, трепетные образы которых последние мгновения сопровождают его здесь, на земле. Обычная ли это слабость человеческая или нечто иное? И какое слово подобрать нам для этого иного, нравственная власть которого над нами, выходит, столь велика?

Всякий читавший толстовскую повесть «Смерть Ивана Ильича» помнит, должно быть, её кульминационный момент: изнурённый болезнью, страдающий от боли, унижительного бессилия и ужаса наступающего конца, герой повествования попадает в своего рода онтологическую ловушку: мученье его, пишет Толстой, состояло «и в том, что он всовывается в эту чёрную дыру, и ещё больше в том, что он не может пролезть в неё». Из этого безвыходного состояния (знакового, осмелюсь предположить, многим) Ивана Ильича выводит нечто очень простое – внезапно проснувшаяся жалость к жене и сыну. Он понял, что должен сделать для них.

« – Уведи... жалко... и тебя... – Он хотел сказать ещё «прости», но сказал «пропусти», и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймёт тот, кому надо.

И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг всё выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и как просто, – подумал он...»¹

И утишилась боль, и не стало ни смерти, ни страха. Стал свет.

Не будем, однако, забывать путь размышлений, который мы уже прошли. Слишком, пожалуй, легко, соблазнительно легко соскользнуть нам теперь с толстовских высот, как с ледяной горки, на проторённую, тысячу раз исхоженную дорожку: да, мол, так вот и надо – думать о других, не о себе, тогда и умирать легче будет. И мудрить тут особо не о чем. И, если продолжить эту мысль чуть дальше – вообще, важно не то, как мы умираем, как угасает наше «я», – важно, как мы прожили свою единственную и неповторимую жизнь, что после себя оставляем людям. Ведь после нас всё остаётся людям...

Остаётся-то остаётся, но ведь камеру с собственного плеча, как уже было сказано, не передашь никому! Это в кино мы привыкли, что после смерти героя, как и при любом перерыве его сознания, план изображения тотчас и без проблем передоверяется другим персонажам, подстраивается под их точку зрения, под их присутствие в кадре. Вот – да простит меня Толстой, у него-то всё по правде, – вот исстрадавшийся, агонизирующий

¹ Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича // Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 22 т. – Т. 12. – М.: Художественная литература, 1982. – С. 106, 107.

больной видит в последний раз своего сына, свою жену, вот сознание его в последний раз погружается в нахлынувший со всех сторон свет – и в следующий момент, после мгновенного затемнения экрана, перед нами будничная сцена перерыва судебного заседания, кто-то из судейских листает только что поданные «Ведомости», затевается небрежный разговор о покойном... Вот боец, стиснув зубы, последним рывком бросается на амбразуру – и тут же мы видим цветы на его могиле, лица прохожих, звучит скорбная музыка...

Увы, *тогда* ничего такого не будет. И никаких «нас» не будет тоже. Да и вообще, «будет» ли там что-нибудь – и, быть может, не просто в том смысле, что ничего, мол, не будет... Лучше прислушайтесь к сокровенным чувствам своей души, её снам, её бессоннице, – может, они подскажут вам что-то...

Уверен, что многие и прислушиваются, – да кто бы не прислушался на нашем-то с вами месте! И тем не менее... – ну-с, об этом уже говорилось выше.

Так как же объяснить это поразительное людское свойство сохранять верность нашим хрупким, распадающимся «посюсторонним» связям при молчаливом осознании того страшного, непостижимого, что надвигается на каждого из нас? Как это получается, что ради них мы жертвуем собственным близящимся *настоящим*, в преддверии которого пребываем ныне? Что подталкивает нас к этому выбору?

Любовь? Страх открыть глаза? Всегдашняя и неодолимая наша косность? Упомянутая выше *немыслимость смерти*? Думается, и то, и другое, и третье, и четвёртое – у каждого своё. Интереснее, конечно, поразмышлять о любви. Хотя, на первый взгляд, что уж в этом чувстве такого особенного? Чем способно оно поколебать обычное представление о привязанности нашей к здешнему чувственному бытию – привязанности себялюбивой и суетной? Особая, конечно, статья – любовь неземная, божественная, но она-то как раз на стороне Вечности; что ей до бренных вещей земли? Вот и блаженный Августин говорит: «Да хвалит душа моя за этот мир Тебя, «Господь, всего Создатель», но да не прилипает к нему чувственной любовью, ибо он идёт, куда и шёл – к небытию, и терзает душу смертной тоской, потому что и сама она хочет быть и любит отдыхать на том, что она любит. А в этом мире негде отдохнуть, потому что всё в нём безостановочно убегает: как угнаться за этим плотскому чувству?» (Confes. 4, X, 15)¹. Выходит, что собственное достоинство любви обусловлено её соответствием исконному стремлению души человеческой «быть» (*quoniam ipsa esse vult*)? И обрести себе, наконец, подходящее место для отдыха (*et requiescere amat in eis quae amat*)? И именно поэтому любить

¹ Блаженный Августин. Исповедь. – СПб.: Наука, 2013. – С. 50.

следует только вечное, онтологически совершенное, то, что «не может ухудшаться» (Ibid. 7, I, 1)¹? А то, что способно «ухудшиться», разрушиться, умереть, развеяться в прах, а таковы все и всё, что в этой земной жизни нас окружает, – всё это недостойно нашей любви потому лишь, что бrenно и не утоляет свойственное нам настойчивое *стремление быть?*

Не будем снижать степень нашего восхищения божественным мыслителем, как всегда, заставляющим нас вдуматься поглубже в им сказанное. Рассудим сами, дорогой мой читатель, что при таком взгляде на вещи выглядит более эгоистичным: безоглядная привязанность к «миру сему» и грешным его насельникам – да, привязанность зачастую слепая, морально не выверенная – или же твёрдо-расчётливое намерение *душу свою спасти*: не упустить в этом деле ничего, не разменять его на ворох «посюсторонних» удовольствий?

Подобного рода «душеспасительные» соображения и в наши неблагочестивые времена близки, несомненно, многим; опирающаяся на них аскетическая практика также вещь достаточно известная. Но вспомним слова из известной книги: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15 : 13). Подчеркну: вопреки множеству современных переводов этого примечательного высказывания, речь в нём определёнno идёт не просто о «жизни», а именно о *душе*, ψυχήν как центре внутреннего бытия личности, средоточии её «я». Тот любит воистину, кто ради друзей возлюбленных не то что жизни земной, а и бессмертия своего не пожалеет, и спасение собственное отдаст. Вне сомнения, это подвиг большой – куда больший, чем просто душу свою донести до Престола не расплескавшейся. Не к такому ли подвигу, в сущности, и намечает для нас путь эта книга, известная всем?

В русле нынешних размышлений важно отметить следующее: получается так, что всякое дробление любви на «земную» и «небесную» (на манер языческого противопоставления «Афродиты Пандемос» и «Афродиты Урании») приводит нас к потере самой *тайны* любви, низведению обеих половин её разломанной целостности к мрачной субстанции эгоистического самоутверждения. В том-то, смею предположить, и секрет, что, возгораясь в мире бrenных вещей и смертных существ, любовь, как бы это её свойство ни толковать, вносит в него отсвет мистический. Да, любовь уязвима. *Всякая* человеческая любовь уязвима: и по предмету, на который она направлена, и который, будь то сам воплощённый образ Божий, по определению «безостановочно убегает» от нас, и по лежащей в её основе коренной человеческой интенции, всегда оспариваемой, всегда стоящей как бы перед внутренним судом и таящей в себе неисчислимый потенциал морального риска. И тем не менее, если

¹ Там же. – С. 89.

божественное и впрямь проявляется в мире человеческом, то только в ней, в любви, только посредством неё. Да, печься о возлюбленных ближних, даже на смертном одре, для нас важнее, насущнее, чем предаваться тревожным размышлениям о вечной участи собственной души, – значит... значит есть Бог?..

Не знаю, не знаю. Есть, по крайней мере, основания исходить из того, что существует Любовь. Применительно к нашей теме это означает, что от непостижимости человеческого предсмертного выбора мы таким образом можем перебросить мостик к непостижимости Любви, на которой этот выбор основан. На мой взгляд, это уже немало: расчистить мысленный простор для предположения, что наша сосредоточенность на «земном» в самый момент ухода – не просто проявление духовной немощи, что в ней сквозит своя мистическая правда, своя нравственная красота. Увы, смертны и уязвимы не только люди вокруг меня, к которым я испытываю любовь и жалость; уязвима и преходяща – я всей душой ощущаю это – сама моя жалость, моя любовь: быть может, сама она вот-вот исчезнет *за тем вечным поворотом*, вместе со всем, что мне дорого, чего мне жаль. Но тем острее испытываю я её сейчас, тем дороже мне мои близкие – покуда я жив, покуда они со мною. И тем более явственно для меня то неистощимое сияние, то тепло, которое – в иные моменты мне дано это понять – оправдывает собою всё.

Но дальше, дальше! Если исходить из того, что Любовь *есть*, что её присутствие способно озарить и последние мгновения нашей жизни, – не предоставляет ли это нам возможность по-иному взглянуть и на наше давешнее допущение относительно онтологии Ничто? Не Любовь ли мистической, да-да, мистической властью своей удерживает нас от роковой дилеммы: погружение в небытие, полное растворение в нём – или одинокое предстояние неумолимо надвигающемуся ужасу?

Вспомним: выше нами принималась, как единственно возможная, ситуация одинокой, с глазу на глаз, встречи человека со смертью. Но если и вправду есть Любовь, которая «крепка, как смерть» (Песн 8 : 6), любовь, которая и в час смерти остаётся с нами? Любовь, которой мы можем верить, нашептать свой неповторимый мир – и почтить под её покровом, в её благословенной сени?..

Никто, наверное, заранее не знает, как поведёт себя в свой последний миг, какие чувства суждено ему будет напоследок изведать. Но, оглянувшись вокруг себя, каждый припомнит людей, обычных людей, в час кончины которых *любовь брала верх*, людей, которые умирали с мыслью о других, в заботе о других, охваченные, словно пламенем, хрупкой и святой любовью. Хрупкой – и крепкой, как наступившая смерть.

И пусть сам ты не таков – присутствие такой любви в человеческом мире хранит и тебя, укрывает от того, вынести что не под силу твоему

сердцу, твоему «евклидовому» земному уму. Над тобой и над всеми нами, незримо для ока, но ощутимо для души человеческой, оберегая от подспудной жути, веет как бы некий *покров*. Покров... Очень хочется как-то выделить это слово, написать, что ли, его красными буквами, тем более что и возможность такая есть: *Покровь*. Кто-то же расстилает его над нами...

Да, в преддверии смерти все мы как бы заново становимся детьми – доверчивыми, любопытствующими, задумчивыми. Как тот ньютоновский мальчик, замерший у полосы прибоя в ожидании большой волны – вот он, среди надоевших ракушек, вглядывается в сверкающую даль...

Быть может, все мы уже далеко-далеко от этой дивной планеты; из Бог весть какой дали доходит до нас, касается смятенных душ наших её магический свет. И мы, граждане далёкой страны, в этом свете участвуем, жизнью его безраздельно живём. А кто таковы мы сами, из какого медвежьего закутка стремим к нашей земле своё недреманное, навеки раскрытое око – этого нам знать не дано. Покров, господи, *покровь*.

Но я философ, я должен думать.

Зачем?

Помните, друзья, из того далёкого, единственного и невозвратного нашего детства – трогательное желание ребёнка рассказать о своих набежавших страхах маме? Рассказать, одолевая первую неловкость, рассказать немедленно, вот сейчас, пока мама рядом, пока с тобой её волосы, её улыбка, её родное дыхание, пока свет, щедро льющийся из-под весёлого абажура, раздвигает и укрощает обступивший мрак.

Обо всём, обо всём ты расскажешь одним движением приникших к тёплому маминому телу губ – и о том ужасе за колышавшимся в темноте огромным занавесом, и о пляшущих под потолком белёсых таких человечках, и о жгучем лекарстве в противном ящичке под трельяжем...

Ты шепчешь маме, в лучезарное облако маминого присутствия свои робкие, заветные слова, а мама, ах, мама...

...Ты улыбаешься, и, вторя чему-то сокрытому, умиротворённо произносишь про себя:

- Всё будет хорошо. Сколько можно думать о смерти!..